

ПАМЯТИ Г. М. ФРИДЛЕНДЕРА



Н. Я. ДЬЯКОНОВА

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ¹

Глубокоуважаемые коллеги!

Мне кажется, что из всех здесь присутствующих я раньше всех познакомилась с Георгием Михайловичем. Это было ранней осенью 1936 г. Конечно, Георгием Михайловичем он тогда не был, был он Юра Фридлендер. И так я буду о нем в его молодые годы говорить.

В 1936/37 учебном году мы все были на пятом курсе тогдашнего Ленинградского историко-философского лингвистического института — ЛИФЛИ, того, что уже через год стал филологическим факультетом университета. Мой друг Шура Выгодский позвал меня и моего мужа Игоря Дьяконова присоединиться к компании, которая существовала не менее трех, а то и четырех лет и сплошь состояла из в разной степени блестящих и удивительных людей.

Большая часть из них были студентами литературного факультета, тогда отдельного от лингвистического. Центром этой компании, ее душой, ее интеллектом и ее образованностью был друг Шуры Выгодского Юра Фридлендер. Очень близок с ним был Яша Бабушкин, тоже по-своему необыкновенный человек, но оторванный обстоятельствами детства, воспитания и страшной советской действительности от тех источников образования, которые Юре были открыты с самых первых дней его жизни. В центре группы была также Анка Тамарченко, в девичестве Эмме, а на периферии ее, так сказать, были Дьяконовы, Воля Римский-Корсаков — тоже студент лингвистического факультета — и отчасти Гриша Тамарченко, муж Анки. Среди центральных персонажей я забыла назвать Лялю Ильинскую; она потом очень много лет преподавала в Москве, точно не

¹ Публикуемые воспоминания Н. Я. Дьяконовой представляют собой стенограмму ее выступления на заседании, посвященном памяти Г. М. Фридлендера, состоявшемся в ноябре 1999 г. в Пушкинском Доме в рамках XXIV Международных Достоевских чтений.

знаю где, по-моему, в Московском педагогическом или театральном институте. Это была блестящая женщина обаянием в сто тысяч лошадиных сил. Я заметила ее еще на первом курсе, до знакомства с нею. Она была похожа на Комиссаржевскую, и мы с подругами говорили: «Иди скорей! Комиссаржевская курит в уборной!», и мы бежали, просто чтобы посмотреть на нее. Это была тоже в своем роде необыкновенная, ни на кого не похожая женщина.

Такова была Юрина компания. Участники ее были людьми, о которых можно сказать, ныне модное слово, трудоголики — иступленные в своей работе. Пока они бодрствовали, они трудились. Просто не было иначе. Образ жизни этой компании был самый аскетический. Что на нас было надето, это не поддается описанию. Скажем так: конечно, было одно платье, мы еще шутливо употребляли его с определенным артиклем (*das Kleid*). Потому что оно было одно. Кофта была одна, блузы были, хорошо, если две. И так далее. Жили действительно иступленным, еле вообразимым трудом, особенно Юра. Апостолом знания, чтения, образованности он был в наибольшей степени.

Уже на первом или максимум на втором курсе он вместе с Яшей Бабушкиным и с Анкой Эмме, тогда еще не Тamarченко, написал книгу. И вот тут я должна сделать отступление, которое, может быть, огорчит присутствующих. Все эти перечисленные мною люди, все они были иступленно верующими. Верующими, конечно, не в религиозном смысле. Нет. Но верующими в идеалы социализма, верующими в идею о социализме как строе, который должен прийти на смену несправедливому, жестокому, страшному строю капитализма и утвердить на всей земле законы справедливости, равенства и братства. Вот в эту идею верили мы все. Мой муж был человеком скептического, насмешливого ума и рано причастен не только к русской, но к западной культуре по обстоятельствам своей жизни, которая прошла в значительной мере за границей. Но я хорошо помню один наш серьезный разговор в начале нашего сближения. Он сказал мне: «Наступает время, когда интеллигенция приходит к социализму». Это был 1934 г. Я запомнила эти слова, хотя прошло уже, сосчитайте, сколько лет. И это было именно так, и никакое другое слово тут не может быть действительно.

Вот эта книга, которую писали Юра, Яша и Анка, — это была книга, утверждавшая священные для нас тогда истины марксизма — утверждавшая их в ожесточенной полемике с вульгарным социологизмом, тогда еще во всем господствовавшим. Так, например, «Божественную комедию» непосредственно выводили, грубо говоря, из счетов, которые предъявляли продувные флорентийские купцы. В возмущении Данте бесчестностью буржуазии видели суть его произведения. Задачей Яши, Юры и Анки было опровержение вульгарной социологии, которая ими рассматривалась как осквер-

нение идеалов марксизма. Для того чтобы представить биографию Юры, нужно ясно представить себе идеологическую борьбу этих лет.

Однако я отнюдь не хочу создать впечатление, будто он и его друзья были оголтелыми фанатиками. Стойкость убеждений не мешала им быть веселыми и смешливыми. На наших сборищах очень много смеялись, было много шуток. Например, я помню такую, правда, грустную шутку. Мы были в страшном волнении во время событий в Испании, и висели над картами, и прослеживали движение войск той и другой стороны. И Воля сказал: «Одно хорошо — теперь мы будем хорошо знать географию всего мира». В чем, как вы знаете, он не ошибся.

Шутки были всегда. Кто-то заявил: «Если бы Оскар Уайльд был бы сейчас жив, он, несомненно, был бы другом Советского Союза». А Юра возразил: «Ну, нет, эту позу ему бы не уступил Бернард Шоу». Вот такая была общая атмосфера. Когда нас всех, кроме Юры, исключили из аспирантуры, в которую мы едва успели поступить, даже это мрачное событие было предметом шуток, смеха, сочинялись веселые стишки на веселые напевы. Я не могу, к сожалению, петь, но скажу:

В Наркомпросе, где и поныне наши заявки спят,
Где туманны изгибы линий, и гибнет кандидат...
Наркомпрос — прекрасный наркомат,
В нем цветет махровый бюрократ...

Или сочиняли рассказ на букву «п» о наших похождениях в Наркомпросе. «Приехали первопрестольную. Пришли пантеон просвещения. Поздоровались. Прислушались: „Привет пышноподготовленным! Поттише, пожалуйста! Пора прекратить просвещаться! Поезжайте подальше“».

Таков был общий фон. Он был веселый, совершенно не фанатичный. Но при этом убежденность была очень глубокой и серьезной.

Яша и Шура были членами партии. Юра не мог, потому что у него был арестован брат, его ни за что бы не приняли. Но все они об этом думали. Думали об этом как о реальном, правильном и необходимом.

При этом в конце 1930-х гг. мы, конечно, понимали, что в стране происходит что-то страшное. Тем не менее общие идеалы, общая идея от этого существенно не менялись. И я помню Шурины слова: «Перегибы — это трагическая закономерность советского строя». Закономерность, страшная, несправедливая, мы знаем, что несправедливая, но она была во имя чего-то высокого, что нам казалось несокрушимым.

Наступила война. Шура погиб в первые же дни. Он был заведующим литературным отделом Ленинградского радиовещания. На

нем лежала «тяжелая броня». Он ее с большим трудом снял, подсунув на свое место полуслеплого Волю Римского. Характерен его последний разговор с матерью. Он ей сказал: «Если ты скажешь, что ты меня не можешь отпустить, я останусь, но знай, что я никогда больше не смогу себя уважать». И она поняла, что его надо отпустить. В начале июля он был убит под Смоленском.

Погиб и Яша Бабушкин, но ближе к концу войны. Это было недалеко от Ленинграда. А он в то время был героической фигурой. Он был не просто заведующим Ленинградским радиовещанием, его голос умирающие ленинградцы слышали последним.

Воля Римский умер в блокаду. Моя сестра, узнав, что он в стационаре, пошла к нему и принесла из своего донорского пайка плитку шоколада. Это было все равно как тысяча долларов. А он слабыми губами ей сказал: «Мне уже не поможет, отдайте ему». И показал на мальчика рядом с собой.

Вот такие это были люди.

А Юра попал в трудовой лагерь, потому что у него в паспорте было написано «немец». Это получилось оттого, что мать его была французской еврейкой, но католичкой, крещеной уже во многих поколениях. Отец Юры был немецкий еврей, тоже давно крещеный. А по-старому не писали национальность, писали вероисповедание. Когда католичка вышла замуж за лютеранина, общая их религия была лютеранская, как вполне понятно. А потом, при советской власти, графу «вероисповедание» заменили графой «национальность»: раз лютеране, значит, немцы. И вот в качестве немца Юра угодил в трудовой лагерь, где провел почти 4 года.

Мы переписывались. Он просил нас только об одном — о книгах. Книги оставались его главной заботой. Вышел он оттуда стараниями матери. Она нашла уцелевшие за два или три поколения какие-то грамоты, из которых было видно, что Фридендеры были иудейского вероисповедания. И тогда в качестве еврея он вышел из этого лагеря. Какое-то время ему было нельзя жить в Ленинграде. И он ночевал по очереди у своих друзей, в том числе и у нас. Конечно, у нас была одна комната, и он спал у нас в ногах на маленькой кушетке. И как-то проговорили мы целую ночь, не замолкая ни на одну секунду. Мы тогда очень далеко отодвинулись от социалистических идей. Ужас того, что происходило, и понимание ужаса и трагедии войны, которая была в значительной степени вызвана общими особенностями политики, — оставляли у нас уже сравнительно мало иллюзий. И мы, особенно мой муж, торопились все это Юре сказать. А к утру он произнес замечательную фразу, которую я помню вот уже больше 50 лет: «Эх вы, ренегаты». Он, который прошел через невыразимый ужас советского лагеря, упрекал нас в том, что мы отступили от советских идеалов. Для него они оставались, и марксизм для него сохранял глубокий смысл.

В 1990-е гг. мой муж написал книгу «Пути истории». И Юра, конечно, ее читал и написал лично для него, от руки, огромную рецензию. Рецензия была бескомпромиссно ругательная. Он отдавал должное эрудиции и смелости мысли, но Дьяконов отступил от марксистской схемы, а Юра считал это заблуждением. В этом проявилась стойкость, которая прошла через всю его жизнь. Для того чтобы его понять, надо знать это.

По возвращении из лагеря Юра стал работать в Институте иностранных языков, который Ефим Григорьевич Эткинд называл «Институтом неблагодарных девиц», так как он помещался в бывшем Институте благородных девиц. В этом «Институте неблагодарных девиц» Юра преподавал и, разумеется, был вышвырнут оттуда в качестве еврея в период борьбы с космополитизмом.

По совету моего мужа, который был очень хороший сутяга, Юра написал жалобу на свое увольнение и в ответ получил вызов в Москву. Это был уже 1948 или 1949 г. Вернулся он из Москвы с совершенно опрокинутым лицом, прямо с вокзала пришел к нам и с ужасом показал нам свой паспорт. В паспорте было жирно перечеркнуто «еврей» и написано «немец». Это сделали в Москве.

Юра был в отчаянии и говорил, что будет жаловаться. Но мой муж сказал: «Брось! Сейчас так лучше».

Это я потому говорю, что я в этих стенах от очень глубоко уважаемых мною лиц слышала мысль о том, что он был перевертыш, который изменялся в зависимости от конъюнктуры. Это не так. Он не был перевертыш, его паспортные данные менялись в силу обстоятельств, вне его лежавших.

Постепенно все стало становиться на свои места. Палач умер, в Пушкинском Доме возобновилась полезная деятельность. Юра стал работать тут, и это вы знаете лучше меня.

Во все эти годы продолжалась наша дружба. Но, как я ее вспоминаю, это тоже была дружба особенная. Мы виделись очень редко — может быть, 3—4 раза в год по той же причине, о которой я говорила, — по причине остервенелого, осатанелого труда, которому предавались мы в меньшей степени и он — в большей.

А когда виделись, мы не вели никаких, так сказать, интимных разговоров. Ну, не была у нас принята такая доверительная откровенность. Говорили мы об общих вещах. Но особенность Юры заключалась в том, что для него общее было его личное. То, что было общим для его страны, это было и его, и это было интимным в его жизни. И мы говорили об этом.

И соответственно его линия поведения в отношении друзей была тоже такая. Не изливать им свои чувства, а оказывать им помощь. Причем помощь — в общем направлении их деятельности, в очень трудных условиях. Например, Юра первый дал мне возможность войти в «Новый мир», познакомил меня с тогдашними редакторами,

и благодаря Юре была напечатана первая моя большая, настоящая рецензия. Для него было важным оказывать помощь всем, к кому он хорошо относился. И помощь эта была всегда конкретной и всегда для него трудной.

Юра помогал мне в подготовке к защите докторской, когда мне надо было бороться с очень недоброжелательным отзывом. Он продиктовал мне стратегию борьбы и самозащиты. Ему до всего было дело. Не было такого, чтобы ему было все равно. Он умел входить в жизнь своих друзей, понимал, в чем они нуждаются, и при крайней ограниченности средств отличался щедростью своих хорошо продуманных подарков.

Остатки нашей компании продолжали встречаться; в частности, до самой смерти мамы Шуры Выгодского мы ходили к ней в день его рождения. Характерно, что в общих беседах Юра очень мало говорил. Свои идеи он вкладывал в книги и бесчисленные статьи. Я почти не помню его речей — он слушал. Но его слушание было такое, что стимулировало мысль, оно заставляло думать, заставляло понимать важность размышлений. Я думаю, что отчасти эта молчаливая скромность Юры была связана с его болезнью. Он был очень нервным, болезненно нервным. Причем еще с самых ранних лет. Это была тяжелая наследственность, преимущественно от отца, да и от матери тоже. Но, представьте себе, что вот эта нервность, обнаженность нервов делала его тем более чувствительным к страданиям людей, к интересам, к волнениям, переживаниям других. И она же, — может быть, это звучит странно, — она же делала его необыкновенно чувствительным к музыке.

Мне приходилось довольно часто ходить с Юрой в Филармонию. Он просто брал меня с собой. Бывало, я слушала музыку и смотрела на него, не отрываясь. На его лице изображались все движения музыки, мелодии, модуляции, трансформации музыки. Он отвечал на каждую нотку. На это обратила внимание моя старшая подруга. Она сказала: «Я не видела человека, который бы так реагировал на музыку». И вот эта открытость прекрасному — в музыке, в поэзии, в философии, в природе, в людях, в домашнем обиходе — она, по моему, определяет едва ли не самое главное в Юре Фридлиндере: он был открыт прекрасному и хотел это прекрасное сделать достоянием всего человечества.